**Посредственность как социальная опасность**

Ольга Седакова

Внутренняя жизнь, вообще говоря, обладает большой автономностью от внешних обстоятельств, а порой, в самых напряженных моментах, может обладать абсолютной автономностью. Такой момент абсолютной автономности, иначе говоря, свободы от всего, что происходит снаружи, описал Лев Толстой в своем Пьере Безухове, когда Пьера в московском плену у французов, в ожидании возможного расстрела посещает чувство личного бессмертия. И рядом с этим чувством все кажется смехотворным: “Меня расстрелять? — думает Пьер. — Мою бессмертную душу?” Такие моменты абсолютной автономности случаются не только в пограничных ситуациях: сверхтяжелых, сверхопасных — они могут быть в совсем других местах. В том, что называется “веянием хлада тонка”, в голосе какого-нибудь старого певца на старой пластинке — это, в конце концов, несущественно. Существенно то, что мы оказываемся в прострастве другого, по существу, измерения. Не только другого измерения: в том месте, которое само – мера, которое само измеряет происходящее уже каким-то иным – и не побоюсь сказать, последним образом.

Во внутренней жизни — я понимаю условность этого названия, но постмодернистская привычка ставить все в кавычки и говорить перед каждым серьезным словом “как бы” (“я как бы радуюсь”) мне уж очень надоела, поэтому я позволю себе такое старинное выражение — во внутренней жизни человек встречается с тем, что Гёте назвал “старой правдой”, которая всегда та же.

Das Wahre ist von laengst gefunden,

Hat edle Geisterhaft verbunden;

Das alte Wahre, fass es an!

Правда найдена давным-давно

И связала союзом благородные души;

Крепко держись ее — этой cтарой правды.

Эта “старая правда” не изменяется не только от смены политических режимов, но и от космических катаклизмов. Как известно, “небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут” (Мр. 13:31; Лк. 21:33). Искать ее не надо, она найдена или открыта давным-давно или была открыта всегда. Но что надо искать — это себя, такого себя, который способен ее встретить. Продолжая прибегать к гётевским словам, искать себя “благородного”, себя, который состоит в союзе вот с этим обществом связанных правдой душ. Именно на этом месте – пути к себе – мы как раз и встречаемся с политикой. Это неожиданно? Разве не бежать от политики – вместе со всем “внешним” следует, чтобы найти себя? Такой путь хорошо известен, в обиходе он и почитается “духовным”. По моему убеждению, если это путь духовности, то гностической. Одно дело – отстранение от политизирующей суеты:

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура –

совсем другое – отношение с политикой в ее исходном, аристотелевском смысле: с политикой как законами общежития, законами гражданства. Потому что к этой самой гётевской “старой правде” нельзя прийти, если ты пойдешь путем новой кривды, то есть равнодушия к тому, что происходит, использования всего этого для каких-то своих маленьких удач и выгод или же –выберешь себе пресловутую “точку зрения вечности” — sub specie aeternitatis, что особенно любят обыватели. Для них это почему-то чрезвычайно легко - оказаться в этой точке и смотреть на все глазами вечности. Но такая панорама чаще всего подозрительно напоминает обыкновенное наплевательство.

Мне рассказывали мои итальянские знакомые, которые навещали Соловки, как они спросили там насельников, монахов, почему на Соловках так мало памяти о том, что происходило совсем недавно, почему их гид об этом и речи не заводит. На это они услышали: да ведь было такое краткое время в сравнении с вечностью... Вот это та точка зрения sub specie aeternitatis, которую, по-моему, можно назвать точкой зрения свинства. Мои итальянские знакомые, верующие, не побоялись заметить, что и 33 года земной жизни Христа с точки зрения этой вечности – совсем короткое время!

Вспоминая Томаса Манна уже зрелого, можно привести его слова о том, что политика — это здоровье духа, который вне политического самосознания и действия гниет. Что такое в конце концов эта политика, это гражданство? — С одной стороны, это опыт существования в виду зла - и ввиду страдания, чужого страдания, с другой. Вот что я имею в виду, когда говорю о политике. Здесь каждый человек оказывается свидетелем. Оказывается участником истории – или жертвой истории, как это понимал Бродский: не тем, с кем круто обошлись, а тем, кто по неведению или лени или малодушию оказался сотрудником палачей.

Когда зло принимает откровенно инфернальные формы, а невинные страдания превосходят все меры, как это было, допустим, при Гитлере и Сталине, то союз со злом или даже мирное с ним сосуществование определенно делают для человека невозможным встречу со “старой правдой”. Для своего “внутреннего мира” он принес в жертву других – и уж тут никакого мира ждать не приходится. В этом я глубоко убеждена, и доказательств этому много. Выбор в ситуациях такого рода труден по-человечески (жалко себя, страшно и т.п.), но совсем не труден эвристически: здесь все ясно — где зло, где добро; во всяком случае, мыслящему и чувствующему человеку это несомненно ясно.

Наша ситуация гораздо сложнее: она пестрая и мутная. Времена, которые я помянула, времена инфернального зла, без стыда утверждали целесообразность зла любого масштаба, постулируя, что зло — это добро, если оно служит верной цели (“немецкой верности” или “торжеству коммунизма”). Теперешнее время такого не говорит. Скорее уж оно говорит, что само это различение устарело, что все и не добро, и не зло, а что-то такое смешанное и невнятное, отчасти хорошее, отчасти дурное – как все мы, как весь этот грешный мир. Нет худа без добра – и добра нет без худа, как симметрично дополнил немудрящую пословицу Бродский – и предположил, что это и есть та новость, которую Россия несет Западу, тот “свет с Востока”, которого он ждал и наконец созрел до него. Созрел до старого цинизма софистов? Итак, во всяком случае, не нам рассудить, что здесь зло а что добро, и сама такая претензия различать грозит фундаментализмом. Насилие становится неприметным, носители его - анонимны. Кто, собственно говоря, тиран либерального общества? А жертв как будто и вовсе не видно.

Из того, что я говорю, понятно, что “нашей ситуацией” я называю не собственно российскую ситуацию, в которой мы еще недалеко отошли от этих инфернальных форм насилия и страдания, и они всегда рядом, так что не впасть в них снова - это наша актуальная задача, и дальше нее ничего не видно. Но тем не менее, есть общее “планетарное” время, есть положение всей цивилизации, к которой мы так или иначе принадлежим (или будем принадлежать) и ключевое слово которой – либерализм. Вот это-то общее как раз, мне кажется, во всех наших разговорах об актуальности и современности не обсуждается. Мы продолжаем говорить о собственной ситуации как из-за железного занавеса или из-за китайской стены.

Это то самое общее положение, которое мы, после того, как наша почти полная изоляция в мире кончилась, вроде бы должны нагонять: вроде бы мы отстали от “них”. Однако порой мне кажется (по опыту двойной жизни, поскольку я все время странствую между двумя этими мирами, “нашим” и “их” и не могу уже не видеть их как один мир) — мне кажется, что, как ни странно, часто дело обстоит ровно наоборот. Кажется, что мы в каком-то смысле уже были в будущем этого либерального общества, хотя, естественно, ничто точно не повторяется, и “их” будущее может принять какие-то другие оттенки. Но я отчетливо видела, что в чем-то мы действительно были, как тогда пели, “впереди планеты всей”.

Я расскажу одну историю, которая, может быть, уточнит то, что я имею в виду. Однажды в Хельсинки, в университете, меня попросили рассказать в течение одной лекции, академического часа, вкратце, историю подсоветской культуры и искусства. Одним из опорных моментов в моем рассказе был “простой человек”. Я сказала, что героем всей этой истории искусства был “простой человек”. От художников требовалось писать так, чтобы это понял “простой человек”. От музыкантов требовалось писать такие мелодии, которые “простой человек” (то есть, не получивший музыкального образования и, возможно, не отягченный особо тонким слухом – иначе он уже не “простой”) может с первого раза запомнить и спеть; философ не должен был говорить “заумного”, “сумбурного” и “непонятного”, как это делалили Гераклит, Гегель и другие “несознательные и буржуазные”, и так далее, и так далее. Был ли этот “простой человек” реальностью или он был конструкцией? — Это вопрос. Я думаю, изначально он был конструкцией, моделью “нового человека”, “человека воспитуемого”, но постепенно эта официальная болванка наполнилась содержанием, и мы увидели этого “простого человека” вживе; его “воспитали”, ему внушили, что он имеет право требовать, чтоб угождали его невежеству и лени. О, сколько раз я видела “простого человека” в действии. На выставках он писал книгах отзывов: “Для кого это все выставлено? Простой человек этого понять не может”. Он строчил в редакции, он сам стал воспитателем. Да, люди стали такими, какими их хотели видеть. Видимо, это было удобно. Заметьте, как мало говорится о том, какое удобство реальный социализм, во многих отношениях мучительный, предлагал человеку, чем он соблазнял его: возможностью безответственности, свободы от личной вины, свободы от “комплекса неполноценности” перед всем, что превышает его понимание и его опыт. Это прекрасно описал Пауль Тиллих, анализируя тоталитаризм в своем “Мужестве быть”. Без согласия среднего человека на режим, без этого добровольного совпадения населения с режимом мы мало что поймем в происшедшем у нас.

Итак, я рассказываю приблизительно так, привожу примеры, говорю о том, что на могилах многих наших художников, убитых сразу или взятых долгим измором, можно написать: “Их убил простой человек”. И, пока говорю, вижу: студенты смущаются, ежатся... Потом ко мне подходили преподаватели и благодарили: “Большое вам спасибо! вот теперь они узнали, что делают”. Как выяснилось, хельсинские студенты подходят к своим профессорам с этим самым требованием: “Пожалуйста, не завышайте задач, не требуйте от нас слишком многого. Не говорите нам слишком сложного и заумного. Мы обычные, простые люди — не требуйте от нас невозможного. Все должно быть для простых людей”.

Финляндия здесь нисколько не исключение. Это совершенно типичная картина. Я встречала европейских редакторов, издателей, которые говорили то, что мы в прежние времена слышали постоянно и надеялись, что это навсегда исчезнет вместе с нашим специфическим режимом: “Наш читатель этого не поймет”. “Мы не должны угнетать читателя завышенной эрудицией, сложностью и т.п.”

Часто в таком разговоре мне приходилось слышать наше родное - незнакомое, к счастью, сидящим здесь молодым людям - раздвоение человека на “я” и “мы”. То есть, человек спокойно излагает собственную позицию: “Я лично этого не люблю, но нам это нужно” – не смущаясь тем, что это позиция клинической шизофрении. Или наоборот: “Я это люблю, но мы этого принять не можем”. Так может говорить человек, облеченный огромной властью. Допустим, министр культуры.

Мне приходилось разговаривать с таким человеком. Он устраивал фестиваль поэзии, на который пригласил самого модного немецкого поэта. Все остальные были поэты как поэты, то есть, они писали стихи на бумаге, и стихи эти состояли из слов, подобранных лучше или хуже.Самый модный поэт ничего такого не делал. Он обладал исключительной артикуляционной одаренностью: он изображал стихи при помощи одних только звуков, и при этом, как ни странно, можно было узнать, что он изображает. Он объявлял: “Я читаю стихотворение Гёте „Горные вершины“”, — и дальше начинал издавать весьма странные неиндоевропейские звуки, невероятно смешно, и все каким-то образом понимали, что это именно “Горные вершины”. Так он изобразил даже Хлебникова, и я могу свидетельствовать, что это было похоже и очень забавно.

Устроитель спросил меня: “Как вам это нравится?” И я ответила, что первые минут десять-пятнадцать можно умереть со смеху. Еще через пятнадцать минут чувствуешь себя свиньей, в которую тебя обратила какая-то Каллипсо, так что теперь ты способен только хохохотать и больше ни в чем не нуждаешься. Он печально кивнул. И я спросила его: “Зачем же вы его пригласили сюда? Ведь бывают эстрадные вечера, где такое делают актеры оригинального жанра. Здесь вроде бы собрались поэты”. Он мне говорит: “Но вы понимаете, что о нас скажут, если у нас не будет такого? Мы окажемся реакционерами, правыми, расистами и всем остальным”.

Много историй подобного рода я могу рассказать о разнообразных проектах и отчетах. Проекты - а культурная и научная жизнь в свободном мире теперь практически переведена на проекты и гранты - пишутся совершенно конформистским способом. Если в проекте не будут указаны темы, которые считаются актуальными - гендерные, в первую очередь; про тело; что-то еще в этом роде - то человек просто не получит гранта или стипендии. Это также вполне знакомая нам техника маскировки своих настоящих интересов под тем, что называется “актуальным”, а у нас называлось... “идейно верным”, кажется.

Я могу рассказать о монументальной живописи – и не где-нибудь, а в ватиканских дворцах. То, что там делается сейчас, до боли похоже на советскую монументалку брежневского времени. Как раз глядя на такие актуальные декоративные работы, Сергей Сергеевич Аверинцев и вспомнил песню, которую я уже цитировала, и сказал: “А вот скажите мне, ведь когда нам говорили: „Мы впереди планеты всей“, — мы не верили. И пожалуйста: они приходят к чему-то похожему”. К чему похожему — понятно: к обществу контролируемому, к обществу установочно популистскому, которое ориентируется на чрезвычайно сниженный умственный и культурный уровень, на этого самого “простого человека”, для которого работает могучая индустрия развлечений и которого надо защищать от “непростых”.

Поэтому я и назвала ту опасность и ту тираническую силу, которая, по-моему, угрожает современности, посредственностью. Меня очень позабавило, как мою тему сообщили в рассылке: “Ответственность как социальная опасность”. Может быть, в такой постановке вопроса есть смысл, но мне еще о нем не приходилось подумать. Предложение интересное, так что, может быть, когда-нибудь я и об этом подумаю, об опасности ответственности. Несомненно, и такая опасность существует.

Но пока я собираюсь говорить о посредственности.

Прежде всего, я предлагаю вспомнить, как был осмыслен у нас наш радикальный поворот от общества тоталитарного типа к какому-то другому. От чего предполагалось уйти и в какую сторону направиться. В какую сторону, ясно: в сторону модернизации, вестернизации, достижения того, чем располагает “весь цивилизованный мир”. При этом цивилизованный мир представлялся как мир демифологизированный, рациональный, прагматичный. Избавляться же следовало от господства мифа, от бессознательного, в котором мы пребывали, от “нецивилизованности”.

Несколько лозунгов переходили из уст в уста и в конце концов приобрели статус неоспоримых истин. Один, самый ходовой – строка Бродского:

Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Другой – из никем не читанного, но всеми почитаемого Вебера, о протестантском происхождении капитализма.

Третий – смерть интеллигенции и вина русской литературы и русских мыслителей за происшедшее.

Четвертый: или хорошая жизнь – или хорошее искусство. Чтобы не было лагерей, не нужно нам и достоевских.

Остановлюсь на минуту только на первом из этих глубокомысленных тезисов. Поэтический смысл строки Бродского не обсуждается. Принятый же sensu stricto, как руководство к действию, этот стих довольно страшен. Мина замедленного действия, которую оставил Европе старый тоталитаризм, - вечное сопоставление с собой, из которого получается, что все что угодно лучше и уже потому его нужно принять. Нацизм принят за абсолютное зло, рядом с которым любое другое терпимо и даже оправдано. Но, как заметил французский философ Ф. Федье, всякое зло абсолютно. На практике нетрудно убедиться, что воровство непременно где-нибудь вдали кончится кровью, как это описано в “Фальшивом купоне” - и как мы имели возможность многократно убедиться, читая о разборках начинающих бизнесменов... Тем не менее, благодушная безыдейная аморалка приветствовалась как альтернатива “кристально чистым” кровопийцам-идеологам.

И что же мы получили в конце концов, на самом деле? Отнюдь не реальный, нормально действующий рынок, которого, как все знают, у нас так и нет. Мы получили новый миф и новую идеологию: идеологию рынка. Больше того: поэзию, романтику рынка. В западном мире ничего похожего нет: рынок - прозаическая реальность; никто ее не воспевает, никто не учит рынку как идеологии, никто не выступает с моралью или поэзией рынка. Ребенку говорят: “Be nice, помогай ближним, будь хорош со всеми”. Его отнюдь не учат: “Урви свое и беги. Думай о себе, остальное – не твоя проблема”, — то есть, всему тому, чем занималась наша новая педагогика, воспитание еще одного “нового человека” из старого, который получил отвратительное имя “совок”. “Совка” - со старым пренебрежением, замечу, - взялись обучать всему, чего у него не хватает. Не хватало ему, как оказалось, прежде всего хулиганского индивидуализма, который был провозглашен в качестве новой нормы – на место мифического “коллективизма”. Индивидуализм без берегов. Индивидуализм человека, который живет не среди себе подобных, не среди других людей, имеющих с ним общие интересы, - но против всех. Другое называлось “совковостью”, “советским идеализмом”, “советским аскетизмом” и т.п.

Итак, в цивилизованном мире до сих пор принято учить хорошему – и даже некоторым новым хорошим вещам, например, экологическому сознанию, с которого начинаются многие первые школьные учебники (и среди них – учебник Закона Божия, который я видела в Италии: с внимания к красоте и хрупкости творения). Можно, конечно, сказать, что это привычное расхождение реальности (в которой господствуют утилитарные мотивы) и системы воспитания (в духе определенных гуманистических ценностей) - что это не более чем лицемерие, известное ханжество западного общества, которое всегда обличают местные мыслители неомарксистского толка, привыкшие срывать все и всяческие маски. Вот вы учите общежитию: люби ближних, помогай бедным, не презирай людей другой расы, — а на самом деле.... Вот вы говорите о музеях, о гениях, о вдохновении, о шедеврах, а на самом деле, искусство — тот же рынок, и успешные художники – это те, кто хорошо знают его, выбирают правильную стратегию и потому хорошо продаются и остаются в веках. Такого рода высказывания несут в себе тон вызова, провокации. Говорить так - дело обличителей общества, для которых в этом обществе предусмотрено свое место. У нас же такая “искренность” стала первым словом о вещах, стала системой воспитания. Воспитания – как я уже говорила – очередного нового человека, на этот раз современного, западного, продвинутого.

Это перевоспитание, которым у нас занималась, да и теперь занимается реклама. И как она воспитывает? — Ирина Александровна Седакова, моя сестра, как-то исследовала рекламу с этой точки зрения и сделала определенные выводы: это новая индоктринация, сменившая советскую. Чему она учит? Реклама учит жить. Одними из главных слов этой науки года три назад были “жизнь” и “жить”. Жить — значит уметь пользоваться всем быстрее и успешнее других, чтобы ни у кого другого ничего такого (например, такого шезлонга) не было. Игра на зависти, спеси, комплексе неполноценности – совершенно немыслимые для западной рекламы ходы: “А у соседа такого нет”.

Теперь, насколько я вижу не вооруженными теоретически очами, главным словом становится “право”: “Имею право хорошо сервировать стол”; “имею право купить...”; “я достойна такой косметики...”

Это перевоспитание, конечно, основано на некотором анализе прошлого. Обобщение, к которому приходит этот анализ, - несомненно, новый миф. Он похож на тот пересмотр истории, который был произведен в Германии после нацистской катастрофы. Виноватым в ней почему-то оказалось все лучшее в своей культуре, все любимое. Вот именно они: Гёте, Гегель, фольклорные песни — оказались ответственными за ужасы тоталитаризма. У нас, как все помнят, виновником происшедшего оказалась святая русская литература, как ее назвал Томас Манн. Не кто иной, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Блок — они подготовили весь этот кошмар. Поэтому перевоспитание должно было начаться с того, чтобы решительно покончить со всяким романтизмом, гуманизмом и идеализмом. Новый человек, успешный человек, - это спокойный циник и агностик, находящий комфорт в том, что ничего нельзя узнать, что “все сложно”. Следует быть обывателем, в котором не осталось никакой пассионарности, и все, что ему нужно, — это гарантии, это отсутствие риска, комфорт и безопасность. Если такой тип наконец восторжествует, мы будем жить в цивилизованном обществе. История кончится, потому что такой вот мирный обыватель не любит войны: зачем ему это все; он вылечен на сеансах психоанализа, он уже не невротик, как герои и гении. Всем ведь давно известно, что невротик и герой — одно и то же, а гений - патологическое явление.

Вся эта Библия либерализма принимается без малейшего сопротивления. Интересно, что эта сверхкритическая идеология антиидеологизма не дает критиковать себя. Каждый, кто выскажется против какого-нибудь из ее догматов, рискует репутацией: он будет быстро приписан к лагерю реакционеров, элитаристов, клирикалов и не знаю кого еще. Ах, вам не нравится венчание однополых браков?....

По-своему здесь повторялся европейский путь выхода из шока тоталитаризма – с одним значительным отличием: там искали выход из чувства собственной вины, а у нас темы своей вины при обсуждении прошлого и не возникало. Никто и никогда, высмеивая, вышучивая, брезгливо отталкивая все “совковое”, не заговорил о собственном стыде и вине.

При этом отличии, общий выбор - путь воздержания от высокого, романтического и доброго — по существу совпадает с европейским. В этом смысле показателен французский философ Андре Глюксман, написавший книгу “Одиннадцатая заповедь”. Одиннадцатая заповедь, по Глюксману, состоит в следующем: человек должен помнить, что ему соприродно зло. И поэтому никогда не стоит затевать ничего хорошего, потому что во все хорошее он внесет свое зло, и у нас будет очередная утопия, очередной тоталитаризм и так далее. Когда мне довелось встретиться с Глюксманом, я спросила его: “А не кажется ли вам, что эта одиннадцатая заповедь избыточна?” Он удивился. Я сказала: “Ведь если бы это не было известно, не нужно было бы давать все десять заповедей: „не убий“, „не укради“и т.д.: зачем человеку, у которого нет дурного внутри, запрещать такие вещи? Он и сам их не захочет.” Глюксман засмеялся и сказал, что моя критика довольно деликатна: один раввин ему просто сказал, что он считает себя Господом Богом, который дает новые заповеди.

Это, пожалуй, и есть тот урок, который смогли извлечь западные мыслители, пытавшиеся понять, что произошло в двадцатом веке: признание какой-то фундаментальной недоброкачественности человека и падшести мира. Удивительно, что это кажется таким необычайным открытием? Но это в самом деле катастрофа антропологии Просвещения, отменившего память о первородном грехе, - конец той картины человека, которая вдохновляла европейскую культуру последние столетия. Отмена посветительской отмены. Одна знакомая мне поэтесса из Израиля, выслушав мой рассказ про Глюксмана, заметила: “А я бы предложила другую одиннадцатую заповедь: „Помни, что в тебе есть что-то хорошее“”. Я думаю, что эта заповедь выглядела бы сейчас гораздо оригинальнее.

Итак, знание о внутренней порче и постоянное напоминание: не забывай, что мы живем в падшем мире, что ты падшее существо, — как будто должно удерживать человека от каких бы то ни было глобальных проектов и утопических надежд, грозящих ГУЛагом и Освенцимом. Однако не обдумано вот что: эта присущая человеку низость не перестанет действовать и тогда, когда он не будет предпринимать ничего хорошего... Так что выход из истории не удался.

Но выводы сделаны, картина сложилась и далее не обсуждается: да, это романтики, это поэты, идеалисты, аскеты, фанатики — это они виноваты в революции, это они все погубили, мы расхлебываем их поэтические замыслы.

На самом деле, есть другие осмысления происшедшего, и другие поиски его источника, которые мне кажутся гораздо более правдоподобными и которые, как мне кажется, до сих пор внимания к себе не привлекают.

Я имею в виду художнические анализы. Не политологов, не социологов. Я имею в виду, например, “Собачье сердце” Булгакова с его замечательным героем — хулиганом, недочеловеком. Мне пришлось однажды смотреть блестящий спектакль по этому сочинению Булгакова в Эдинбургском театре. Шариков, к моему удивлению, был как живой, знакомый, как говорится, до боли: как только шотландский актер смо так проникнуть в нашего люмпена и его мировое торжество? Зал смеялся, а мне было не до смеха: передо мной проходила наша история, победители и властители нашей страны. Диагноз: источник происшедшего - хулиганство, хулиганство как исторический феномен. Он возникает каждый раз, когда кончается аграрная цивилизация и люди из деревни приходят в город. Они вырываются из своей культуры и не приобщаются к городской. Здесь месторождение люмпенства, которому “нечего терять”, которому ничего не жалко, потому что окружает его чужое, месторождение хулиганства как всеобщей роковой опасности. Между прочим, эту стихию хорошо чувствовали и Блок, и Василий Розанов...Эту опасную полосу проходят все страны, в которых происходит индустриальная революция. Но в России этот момент, к несчастью, совпал с Мировой войной, со многим еще, с наличием теории захвата власти (обычно у хулигана теорий и партий не образуется). Последствия здесь были страшнее, но в своем роде такое вторжение хулигана переживали все европейские страны. Не в той же ли среде зарождалось нацистское движении? Гете здесь совсем не причем.

Из диагноза следует путь лечения. От чего же требуется исцелиться: от поэта, романтика, идеалиста, аскета в себе? или же от люмпена, хулигана, бесстыдника? Так вот, если герой тоталитаризма - булгаковский люмпен, хулиган, то это совсем другая история и из нее следуют другие выводы.

Но еще интереснее, как мне кажется, тот анализ, который невольно (поскольку это не составляло их непосредственной задачи) провели два совершенно разных писателя: Набоков и Пастернак, ни в чем другом не сходные. Но вот в этом они сошлись: они изобразили деятеля революции, того, кто устанавливал этот новый строй, как посредственность. Таковы герои Набокова, которых боится главный герой, alter ego автора (“Смерть титанов”), и таков Стрельников у Пастернака. Это люди, главное свойство которых – отчужденность от жизни, бесталанность или, как говорит о Стрельникове Лариса, принципиальность. Нужда в схеме, неспособность выйти за пределы этой схемы, неспособность допустить открытый мир, будь это мир искусства, мир морали, мир чего угодно — все для них должно быть упорядочено раз навсегда, решено и закрыто, как в старой песенке: “Касса закрыта — ключ у меня”.

Гораздо более целенаправленной и обширное, не только художническое, но историческое исследование крушения России предпринял Солженицын в “Красном колесе”. И, по моему впечатлению, его исследование кончается тем же диагнозом. У “старой правды” не нашлось даровитого защитника: если такие оказывались (Столыпин в первую очередь, фронтовые генералы), окружающая посредственность топила их с поразительной бездумной жестокостью, она топила не только людей с даром справедливости и заботы, но всякое даровитое решение. В отличие от Набокова и Пастернака, у которых мы видим более всего душевно-умственную сторону посредственности, Солженицын сосредоточен на посредственности нравственной, на убожестве сердца - и у “бунтарей” (именно так выглядит убийца Столыпина), и у приверженцев режима (военачальники, двор). Жорж Нива назвал это “крушением классической добродетели”. И здесь мы еще раз видим, что классическая добродетель и посредственность несовместимы. Человек добродетели – не “маленький человек”. Самый разговор о добродетели становится невозможным, если постулируется отчуждение от истины, источника человеческой интуиции добродетели, практической ориентации в добре и зле. “Маленький человек” - враг истины: она страшна для него своей огромностью и открытостью. Тем более праведник (в любом, самом униженном положении) – не “маленький человек”. Матрена отстоит от Акакия Акакиевича “яко востоцы от запад”. “Маленький человек” еле держится на поверхности жизни и тем вызывает у нас острую жалость: но праведник жалости не вызывает: он на своем месте держит мир.

Господство именно этого характера, “маленького человека”, а вовсе не какого-то Прометея из пропагандного мифа и составляло основу того старого тоталитаризма, в котором мы жили и из которого до конца не вышли. В брежневские времена Иван Жданов как-то заметил: “Вот, в русской литературе жалели маленького человека, а теперь нами этот маленький человек и правит”. Я с ним согласна, потому что то, что было тогда, никак не было правлением какого-то безумного романтика, кристально чистого кровопийцы и так далее. Ничего подобного: это был человек, который угнетает других, потому что он сам бесконечно угнетен. Он угнетен страхом — это человек запуганный. И чем более устрашающие формы принимает его торжество, тем очевиднее, что вся эта сила происходит из того, что он страшно боится; все, что он делает, - это превентивная агрессия. Как сказал известный немецкий писатель о фашизме: “В их силе нет блеска”. В посредственности блеска не бывает. Она и не понимает блеска. Великое для нее – это просто очень, очень большое и устрашающее.

Я хотела бы уточнить одну вещь: что я, собственно, имею в виду, говоря о посредственности, о том, что называли “маленьким” или “простым” человеком, чтобы избежать легко предсказуемых обвинений в элитаризме, высокомерии и т.п.. Посредственностью, которая составляет социальную опасность, я отнюдь не называю человека, у которого нет каких-то специальных дарований — совершенно не это. Я называю так человека паники, панического человека; человека, у которого господствующим отношением к жизни является страх и желание построить защитные крепости на каждом месте.

Русское слово “посредственный” по своей морфологии позволяет понять его по-разному: посредственный как нечто посредине, ни то ни се – или иначе: как человека, которому необходима опосредованность, который воспринимает все только через готовые, опосредованные формы: он не может перенести прямого неопосредованного, непосредственного отношения с миром. Вот такого человека и стали прославлять, называя его золотой серединой, которая спасет нас от опасных крайностей. Мне скрайне обидно за Аристотеля, который в своей “золотой середине” никак не предполагал посредственности, он бы никогда не связал ее с таким благородным металлом. Аристотелевская “середина” - очень радикальная вещь: она заключается в равном отстранении от двух противоположных пороков, но в этой сложной пропорции всегда есть блеск и мужество. Впрочем, не один Аристотель пострадал и обтрепался, попав в развязный журналистский дискурс.

Так вот, какую же опасность представляет собой человек, который не может открытым образом встретить реальность? По-моему, очень простую, и долго говорить об этом излишне.

Во-первых, это человек бесконечно манипулируемый, тогда как того, кто не так боится, труднее принудить к чему угодно.

Во-вторых, он постоянно настаивает на все большей и большей герметизации мира, замкнутости от всего иного, поскольку во всем другом есть риск. Я с большой радостью прочла в одном из посланий Иоанна-Павла II ответ на следующий вопрос: “Кто же виноват в расколе христианских церквей?” Папа отвечает: “Посредственность”. Посредственность внутри каждого из расколотых движения. Именно посредственности нужны расколы, потому что посредственность, как я говорила, — это желание обойтись без малейшей гибкости, без всякой открытости, держась за раз и навсегда принятые обобщения, которые заменяют личный опыт, заменяют то, с чего я начинала, — старую правду.

Представим себе цивилизацию, которая достигла полного торжества посредственности: она, несомненно, открывает двери крайнему риску, фанатизму, потому что фанатизм — это другой способ переживания той же самой неуверенности и того же самого страха. Это мы и видим в последние годы: столкновение мира без идеологии, без способности сопротивляться злу (поскольку нет худа без добра), без способности жертвовать (поскольку последняя ценность этого мира – продолжение существования почти любой ценой) - и людей, которые очень твердо знают, что всегда и на всяком месте нужно делать и не задумавшись пожертвуют ради этого и другими, и собой.